

Г. А. ГУКОВСКИЙ

РАННИЕ РАБОТЫ  
ПО ИСТОРИИ  
РУССКОЙ ПОЭЗИИ  
XVIII века

*Общая редакция  
и вступительная статья  
В. М. Живова*



ЯЗЫКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Москва

2001

ББК 83.3(2Рос=Рус)1  
Г 93

Издание осуществлено при финансовой поддержке  
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)  
проект № 01-04-16188

**Гуковский Г. А.**

Г 93

Ранние работы по истории русской поэзии  
XVIII века / Общ. ред. и вступ. ст.  
В. М. Живова. – М.: Языки русской культуры,  
2001. – 352 с. – (Studia philologica. Series  
minor).

ISBN 5-7859-0147-1

В настоящем издании собраны ранние работы крупнейшего специалиста по истории русской литературы XVIII в. Г. А. Гуковского. Исследуя русскую поэзию данного периода, Г. А. Гуковский в 1920-е годы основывался на идеях и аналитическом инструментарии русского формализма. Формальный метод в его исследованиях был модифицирован и приспособлен к задачам изучения литературы, находящейся в периоде становления. Публикуемые работы составляют ту часть творческого наследия ученого, которая сохраняет наибольшую актуальность и оказывает стимулирующее воздействие на современные размышления. Его исследования, посвященные полемике Ломоносова и Сумарокова, сумароковской школе, раннему Державину, русской элегии и анакреонтике, концептуальным основам русского классицизма, входят в сокровищницу отечественной филологии и являются необходимым подспорьем и для историков литературы, и для студентов-филологов.

ББК 83.3(2Рос=Рус)1

**Григорий Александрович Гуковский**  
**РАННИЕ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ**  
**РУССКОЙ ПОЭЗИИ XVIII ВЕКА**

Издатель А. Кошелев

Художественное оформление обложки  
Наталии Прокуратовой и Сергея Жигалкина.

Корректоры: М. Н. Григорян (с. 7–213), В. Айрапетян (с. 215–330)

Подписано в печать 04.11.2000. Формат 84x108 1/32.

Бумага офсетная № 1, печать офсетная. Тираж 2500. Усл. п.л. 8,91. Заказ № 962

Издательство «Языки русской культуры».

129345, Москва, Оборонная, 6–105; ЛР № 071304 от 03.07.96.

Тел.: 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. М153).

E-mail: mik@sch-lrc.msk.ru Каталог в ИНТЕРНЕТ <http://www.lrc-mik.narod.ru>

Отпечатано в соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета  
в ППП «Типография «Наука». 121099, Москва, Шубинский пер., 6

© Г. А. Гуковский, 2001

© В. М. Живов. Вступительная статья,  
2001

© Ю. С. Саевич. Оформление серии, 2000

Электронная версия данного издания является собственностью издательства,  
и ее распространение без согласия издательства запрещается.

## СОДЕРЖАНИЕ

*Виктор Живов. XVIII век в работах Г. А. Гуковского,  
не загубленных советским хроносом* ..... 7

### *РУССКАЯ ПОЭЗИЯ XVIII ВЕКА*

|  |     |
|--|-----|
| Предисловие .....                            | 37  |
| Ломоносов, Сумароков, школа Сумарокова ..... | 40  |
| Элегия в XVIII веке .....                    | 72  |
| Об анакреонтической оде .....                | 117 |
| Ржевский .....                               | 157 |
| Первые годы поэзии Державина .....           | 184 |
| Примечания .....                             | 200 |
| Сокращения .....                             | 213 |

### *СТАТЬИ*

|  |     |
|--|-----|
| О сумароковской трагедии .....   | 214 |
| Из истории русской оды XVIII века<br>( <i>Опыт истолкования пародии</i> ) .....                  | 229 |
| К вопросу о русском классицизме<br>( <i>Состязания и переводы</i> ) .....                        | 251 |
| О русском классицизме .....  | 277 |
| Racine en Russie au XVIII <sup>e</sup> siècle<br>( <i>La critique et les traducteurs</i> ) ..... | 329 |
| Racine en Russie au XVIII <sup>e</sup> siècle<br>( <i>Les imitateurs</i> ) .....                 | 348 |
| Список первых публикаций .....   | 368 |

## XVIII ВЕК В РАБОТАХ Г. А. ГУКОВСКОГО, НЕ ЗАГУБЛЕННЫХ СОВЕТСКИМ ХРОНОСОМ

В 1984 г. Ю. М. Лотман в частном письме с экзистенциальной отрешенностью замечал: «Грустно, но и интересно следить — уже нельзя читать Гуковского, кроме самых ранних работ, ушло многое из Томашевского, увядает Бахтин... Но, как говорил Пушкин, “не сетуйте — таков судеб закон!”» (Лотман 1997, 81). На чем именно основывалось это меланхолическое наблюдение, Лотман уточнять не стал, да, видимо, и не слишком стремился анализировать. Между тем, взглядевшись, он обнаружил бы противоречивость своих чувств. Меланхолию навевал бег времени, немилосердный к ученым достижениям. Кто из нас, филологов, не подозревает, что наша участь мгновенна и что через полвека наши интеллектуальные находки, столь вдохновлявшие нас в свое время и находившие желанный отклик у наших коллег, вызовут у досужего читателя лишь ироническую усмешку, огульно распространяющуюся на самые речевые навыки достопочтенной старины. Это ли не основание для печали — особенно при сопоставлении нашей несчастной судьбы с немеркнущей славой тех, кому мы посвящаем наши труды. Не лучше ли написать нового «Бориса Годунова», чем самую блестящую статью о русской исторической драме?

Это, однако, лишь одна сторона дела. Ведь невозможно стало читать, по мнению Лотмана, то, что Гуковский писал в свои зрелые годы, а «самые ранние его работы» бег времени пощадил. Это переворачивает временную перспективу и выглядит нелогично. Не означают ли эти причуды хроноса, неожиданно устремившегося

назад, что не он здесь виноват, а характер тех дел, которые уносит река времен? В этом случае здесь не общая экзистенциальная проблема — достойный предмет меланхолического созерцания, — а частный момент. Хронос поторопился расправиться с теми трудами почтенного автора, которым присуща характерная колористическая гамма сталинской эпохи. Но тогда откуда же эта печаль? Не обращена ли она не к хроносу экзистенциальному, а к хроносу советскому, с особым умением превращавшему блестящие начала в тускнеющие финалы, лишь ненароком напоминающие о том, что было раньше? Конечно, к Бахтину это не относится, в отношении Бахтина, который в эпоху постструктурализма читается не с меньшим, а с большим и даже возрастающим интересом, Лотман ошибался, но в отношении Гуковского время лишь подтвердило лотмановский диагноз. Это делает насущной задачей переиздание «самых ранних работ» Гуковского, пока они еще не попали в казематы хроноса, и вместе с тем ставит перед нами вопрос о том, что обеспечивает долговечность этих трудов и отличает их от позднейших работ, вызвавших печальные размышления Лотмана. И в продолжение этой темы нам вряд ли удастся обойтись без нескольких слов о том, что случилось с Гуковским или с тем словесным пространством, в котором он трудился, о том, почему в этом пространстве зрелость так часто становилась синонимом упадка, а добровольный компромисс — предшественником гибели.

В первом издании «Литературной энциклопедии» о Гуковском говорится (том «Григорович — Дяльский» вышел в 1930 г.): «Работы Г. свидетельствуют о большой эрудиции автора, но формалистический подход к изучению литературы невыгодно отражается на его выводах и наблюдениях, заставляя расценивать его работы гл. обр. как сводки фактического материала, до сих пор мало исследованного» (т. 3, стб. 79). Где именно у Гуковского отражается «формалистический подход», сейчас может быть не всегда ясно, потому что нынешнему читателю формалистический инструментарий ранних работ не слишком бросается в глаза. Сегодня эти работы выглядят достаточно традиционными филологическими сочинениями, и нужно приглядеться, чтобы различить в них наследие формальной школы — учителей Гуковского.

От своих учителей Гуковский усваивает прежде всего тезис об имманентном литературном развитии. В постмодернистском пространстве само представление о литературной системе — системе

текстов, созданных индивидуальными авторами по законам поэтики соответствующего периода и выделяющихся из прочих текстов своей эстетической (художественной) функцией, — кажется в целом неплодотворным. Однако на фоне позитивистского психологизма и либерально-академического пристрастия к совокуплению «художественного» вымысла с общественным развитием обращение к словесной ткани эстетических предметов пахло той же сырой резедой, что и свобода футуристической поэзии. Сколь много в этом молодом энтузиазме было непродуманного, но органического стремления перестроить отношения между словом и властью, сначала отнимая для себя власть на правах собственников слова (как об этом мечтал Хлебников), а потом отделяя себя от власти, когда сталинский проект апроприировал те фрагменты авангарда, которые ему оказались по душе (ср.: Гройс 1993), а на долю формалистов оставил быстро рассеявшуюся иллюзию автономии словесного существования, можно сейчас не говорить. Об этом можно не говорить потому, что Гуковский появился к шапочному разбору. Он принадлежал молодому поколению формалистов, о котором Ю. Тынянов, в передаче Л. Гинзбург, говорил: «Что же, они пришли к столу, когда обед съеден» (Гинзбург 1989, 32).

Остатков от этого обеда как раз хватило на пристойную историю литературы — без тех ватейливых закусок, которых не оставили молодым их наставники. Тынянов написал «Оду как ораторский жанр» (Тынянов 1927; работа была в основном завершена на несколько лет раньше публикации, ср.: Тынянов 1977, 490—491), пытаясь на основе сомнительных операций с ломоносовским стихом приписать первому русскому государственному поэту ту же витийственную «установку», которую он находил у Маяковского (Тынянов 1927, 128). Р. Якобсон в книге «О новой русской поэзии» разыскивал у того же Ломоносова «дерзостные тропы» (Якобсон 1921, 30), перебрасывавшие мостик от отца русской поэзии к Хлебникову<sup>1</sup>. Молодой Гуковский таких амбиций не

<sup>1</sup> В рецензии на эту работу В. В. Виноградов не без иронии отмечал (1976, 464), что дерзостный троп, приводившийся Якобсоном в качестве иллюстрации («Брега Невы руками плещут»), «не был "дерзостным" и "во времена" Ломоносова. Это — обычная для Ломоносова реминисценция Псалтыри: "рѣки воспещутъ рукою вкутъ..." (97, 8)». Якобсон, в отличие от Виноградова, Псалтыри не знал и больше интересовался «приемами», нежели филологическим правдоподобием.

имел, прошлое для футуристов не конструировал<sup>2</sup>, а ставил перед собой более скромные и более исторически оправданные задачи. Он стремился выстроить литературные факты XVIII в. в последовательность, обладающую логикой внутреннего развития. Конечно, в реконструкции этой логики всегда сохраняется спекулятивный элемент, так что многие выводы Гукковского оказались спорными. Тем не менее построения, созданные Гукковским в 1920-е годы, вошли в науку и определили те исходные схемы, на которых базировалось дальнейшее изучение литературы XVIII в. Поскольку они хорошо впитались в ткань исследовательской мысли, они сейчас не производят впечатление открытия, но это скорее не недостаток, а достоинство, присущее заложившим фундамент трудам. Фундаменты, как мы знаем, изнашиваются и требуют обновления, но для этого занятия соответствующие конструкции нужно обследовать. Эта надобность и побуждает переиздать ранние работы Гукковского.

Интерес формалистов к литературе XVIII в. был в существенной степени обусловлен тем, что в теоретическом отношении XVIII столетие их предшественники оставили совсем не тронутым. Известные ученые скопидомы — такие как П. П. Пекарский или М. И. Сухомлинов — создали многотомные собрания материалов, но понимание происходивших в литературе процессов не шло дальше утверждений о полной подражательности русского ложноклассицизма, его сервильности в отношении общественном и его параличности в отношении эстетическом. Здесь-то и открывалась блестящая возможность показать, что там, где академическая наука не разглядела ничего, была настоящая жизнь, что у литературного процесса была собственная (а не заимствованная) динамика, что она определяла разнообразие авторских установок, а те в

---

<sup>2</sup> Однако отголоски этой сомнительной дискурсивной практики у Гукковского все же можно обнаружить. Так, призывая молодых советских граждан всмотреться в литературу XVIII в., Гукковский пишет: «Не только ряд отдельных особенностей, характерных для поэтического движения Ломоносова, Сумарокова, Державина, не только некоторые пункты в общем понимании литературных фактов неожиданно сближаются с аналогичными моментами современных нам художественных течений, <...> но даже общий эмоциональный тон, пафос, присущий той молодой, бодрой эпохе, — должен радостно и желанно восприниматься современным читателем, сумевшим уловить этот пафос» (Гукковский 1927, 6).

свой черед детерминировали набор применявшихся приемов. Старшие «формалисты» сосредоточиться на XVIII в. были не готовы, и эта эпоха со всеми ее специфическими проблемами была отдана в разработку «молодому» Гуковскому.

Впрочем, молодым в это время Гуковский был вовсе не метафорически. Он родился в Петербурге в 1902 г. и в 1923 г. окончил факультет общественных наук Петроградского университета. В том же 1923 г. к факультету общественных наук был присоединен Институт сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ), в котором работали В. Н. Перетц, В. В. Сиповский, В. М. Жирмунский, Б. М. Эйхенбаум; в аспирантуру этого института и поступил Гуковский. Здесь он входит в контакт с опоязовцами, работавшими в Институте истории искусств, и именно от них получает на откуп XVIII век: Гуковский начинает читать лекции по истории русской литературы XVIII в. на Высших курсах искусствоведения при этом институте. В рамках этой преподавательской работы и приобретают законченную форму его первые ученые труды, написанные еще в 1923—1924 гг. По воспоминаниям Л. Я. Гинзбург, относящимся к этому времени, «Гриша <Гуковский> говорит, что у него артикуляционное мышление, то есть лучшие мысли возникают у него в процессе говорения (особенного, лекторского)» (Гинзбург 1989, 66).

Хотя Гуковский в предисловии к «Русской поэзии XVIII века» ссылается на труды П. Н. Сакулина и В. В. Сиповского (1927, 6), он ставит перед изучением литературы этого периода совсем новые задачи, вытекающие из общих установок русского формализма (ср. неумную характеристику П. Н. Беркова: «первые научные работы Гуковского, написанные с позиций ортодоксального формализма» — Берков 1964, 189). Литература каждой эпохи образует систему (а не совокупность индивидуальных поисков и находок); литературные факты объединяются «в понятиях школ, направлений, традиций; все поле литературы любой эпохи удобно разделяется на участки, и всякая система оказывается отчетливо локализуемой на скрещении и продолжении тех или иных линий, путей, традиций» (Гуковский 1928, 126). «Поле литературы» существует в «данной исторической среде», которая определяется в терминах «эстетического мышления эпохи, как высшего единства» (там же, 126—127). Это эстетическое единство оказывается самодельным субъектом литературного процесса, отдельные фак-



ты «могут и должны быть истолкованы как знаки сущности художнического миропонимания эпохи; они являются более или менее бессознательными проявлениями отношения ее к самой себе как литературе» (там же, 127).

Понятно, насколько радикально отличался этот подход от традиционной истории литературы, имевшей дело с индивидуальными авторами, психологическими и социальными импульсами их творчества и расплывчато определяемыми «литературными стилями», которые вступали в непонятные отношения с авторскими индивидуальностями (примером подобной истории литературы в применении к русскому XVIII в. может служить книга П. Н. Сакулина — Сакулин 1918). Вместе с тем, и у этого подхода были свои внутренние ограничения, которые несомненно сказывались на характере отбираемых для рассмотрения феноменов. «Дух эпохи», с которым имеет дело Гуковский, предстает как монологическая саморазвивающаяся литературная система, диалогичность сведена в ней к «скрещению» или противостоянию литературных направлений, т. е. к абстрактным операциям с однозначно определенными (статическими) сущностями. Попытка выстраивания литературы как целокупной системы лишает ее имманентной диалогичности, распространяющейся и на отношения между текстом литературы и автором как конструируемым агентом этого текста, и на взаимосвязь между эстетическими предметами и располагающим ими социумом, на слово и авторитетность, на эстетическую установку и власть. Ветви и корни литературного дерева вылезают за пределы той решетки, которую возводит формальный метод, и поэтому никакого целостного предмета на очерченном таким способом пространстве не помещается.

Гуковский — во всяком случае в 1920-е годы — об этой неизбежной скудости своего подхода, видимо, не догадывается (к тому, как эволюционировали его взгляды в дальнейшем, мы еще вернемся), и фрагментарность своих построений относит на счет внешних обстоятельств. Как он пишет в предисловии к «Русской поэзии XVIII века», «книга не может иметь характера необходимой цельности и законченности. Как вследствие обширности материала, так и вследствие недостатка места, приходилось останавливаться лишь на отдельных характерных моментах истории поэзии XVIII века. Получился как бы ряд очерков, разнохарактерных в смысле принципа отбора материала» (Гуковский 1927, 6—7). Ничего не меня-

ют, понятно, в этой фрагментарности и статьи, опубликованные Гуковским в 1920-е годы, они объединены с книгой единым подходом и представляют собой, по существу, дополнительный ряд очерков, обнаруживающих те же достоинства и те же недостатки. Как и книжка, они не дают полноценной общей картины литературной динамики в России XVIII в., однако с тщательностью и пронизательностью описывают те уголки культурного пространства, которые поддаются анализу с помощью избранного Гуковским инструментария. Не все из этих трудов в равной мере сохранили свою актуальность, некоторые были перекрыты позднейшими исследованиями. Однако во всех случаях они создали тот исходный чертёж, который перерабатывался или обрстал новыми деталями в последующих работах. Так что раннее творчество Гуковского и сейчас может служить хорошим введением в историко-литературную проблематику русского XVIII века.

Центральным для всего цикла ранних работ Гуковского о XVIII в. оказывается понятие «сумароковской школы». Сумароков и его последователи предстают у Гуковского как сложившееся и достаточно гомогенное литературное направление, объединенное и общими эстетическими принципами, и совокупностью используемых поэтических «приемов». Первый этап литературной истории, понимаемой Гуковским в терминах литературных «направлений», состоит в борьбе Сумарокова с ломоносовской линией (что, конечно, предполагает в качестве *sui generis* предыстории или точки отсчета ломоносовский период, лишенный полемической динамики и потому неполноценный), второй — в становлении и торжестве сумароковской школы, третий — в вызревании новой поэтики внутри этой школы, возникающей как отклонение от сумароковского канона, последний — в державинском синтезе, трансформирующем одновременно и сумароковскую, и ломоносовскую традиции.

Эта историко-литературная схема превращена в конденсированную историю литературы XVIII столетия в статье Гуковского «Von Lomonosov bis Deržavin» (Гуковский 1925). Она не содержит практически ничего нового сравнительно с публикуемыми в настоящем издании русскими работами Гуковского («Русская поэзия XVIII века» была к 1925 г. уже в основном написана), однако отдельные очерки и фрагменты помещены здесь в хронологический ряд и снабжены подзаголовками: Lomonosov, Sumarokov,

Sumarokov's Schule, V. Petrov, Die siebziger Jahre, Deržavin (Гуковский 1925, 329, 334, 344, 351, 355, 359)<sup>3</sup>. Характерно, что Гуковский строит здесь изложение, ориентируясь на отдельных авторов (а не на жанры или типы поэтической речи); это традиционное представление литературной истории находится в противоречии с тем принципом анонимности, который Гуковский приписывает (через несколько лет) эпохе классицизма (см. ниже). Сфокусированная на Сумарокова жесткая схема с известной навязчивостью проводится через все конкретные исследования Гуковского этого периода. Отсюда и некоторые натяжки, когда, скажем, выброшенным на обочину литературного процесса оказывается Третьяковский, приуменьшаются расхождения между Сумароковым и Херасковым, недооценивается «барочный» характер поэзии Ржевского или чрезмерно акцентируются сумароковские черты в поэзии молодого Державина.

«Русская поэзия XVIII века» открывается очерком «Ломоносов, Сумароков, школа Сумарокова», в котором автор задает основные координаты конструируемого им литературного простран-

---

<sup>3</sup> Мы не помещаем данную статью в настоящем сборнике, поскольку более чем на девять десятых она представляет собой немецкий перевод публикуемых в сборнике текстов. Вводная часть статьи и разделы, посвященные Сумарокову и Ломоносову, соответствуют первой главе «Русской поэзии XVIII века» (Гуковский 1925, 324—344; Гуковский 1927, 9—31) с небольшой вставкой о сумароковской трагедии, пересказывающей выводы соответствующей русской статьи автора (1925, 343; 1926, 70—73). Раздел о Сумароковской школе (1925, 344—351) начинается с пересказа аналогичных пассажей из первой главы «Русской поэзии» (1927, 32—38) и продолжается переводом этой же главы (1927, 39—45) с незначительными добавками о баснях Хераскова и Майкова и с вставкой из статьи об элегии из той же «Русской поэзии». Раздел о В. Петрове (1925, 351—355) в основном совпадает со страницами, посвященными этому автору в первой главе «Русской поэзии» (1927, 45—47), с добавками, находящими соответствие в статье «Из истории русской оды XVIII века» (1927а). Раздел о семидесятих годах (1925, 355—359) в основном совпадает с первыми страницами последней главы «Русской поэзии» (1927, 183—184) с небольшими вставками, посвященными басням Хемницера и «Россиаде» Хераскова. Раздел о Державине (1925, 359—365) повторяет заключительную часть державинской главы в «Русской поэзии» (1927, 197—201) с минимальными добавками, в которых говорится о стилистических приемах зрелого Державина.

ства. Он прочерчивает ось Ломоносова и ось Сумарокова. «Системе» Ломоносова приписывается иррационализм поэтического восторга (как принцип организации оды), воплощающийся в сложных метафорах, развернутых периодах (максимально удаленных от естественной речи) и словесном изобилии, составленном преимущественно из необыденных слов церковнославянского происхождения. «Система» Сумарокова основывается на прямо противоположных принципах, она характеризуется установкой на ясность и простоту, выражающейся в отказе от тропов, в приближенном к разговорному строении фразы и ограниченном использовании славянизмов, которым автор предпочитает коллоквиализмы. В этой конструкции Гуковский опирается прежде всего на полемические сочинения Сумарокова, замечая несколько голословно, что «[т]ворчество Сумарокова <...> столь же противоположно Ломоносовскому, сколь и теория» (с. 26).

Гуковский отдает себе отчет в том, что «контрастное изображение обоих направлений поэзии середины века страдает неизбежной схематичностью» (с. 31), однако он не вполне осознает меру своего схематизма. В его ограниченном собственно «литературными» текстами пространстве не заметно того очевидного противоречия, которое создает «совершенная немыслимость» (с. 17) поэтики Ломоносова в сочетании с его — последователя Лейбница и Вольфа — рационализмом. Как справедливо заметила Р. Лахманн (Лахманн 1981), Гуковский, воспроизводя спекулятивные построения Тынянова, недооценивает рациональный момент в одическом стиле Ломоносова. Он игнорирует европейский контекст полемики Ломоносова и Сумарокова, ясно показывающий, что оба автора исходят из одной и той же совокупности эстетических идей (тех, которые позже в блистательных работах Л. В. Пумпянского будут определены как воззрения «школы разума» — см.: Пумпянский 1937; Пумпянский 1983), но по-разному интерпретируют их в применении к русской культурной ситуации. Эта разность интерпретации соотносится с несходством социальных задач, которые ставят перед собой два автора (социальный аспект в ранних работах Гуковского практически отсутствует), вместе с тем эти задачи теснейшим образом связаны с жанровым диапазоном их творчества. Разность установок реализуется прежде всего в полемическом противостоянии и в несовпадении культивируемых Ломоносовым и Сумароковым жанров, тогда как в рамках совпадающих жанров

литературная практика обнаруживает многочисленные сходства, релятивирующие сконструированную Гуковским бинарную оппозицию (ср.: Гринберг и Успенский 1992). Показательно, что Сумароков неоднократно употребляет в своих торжественных одах (особенно в их первоначальных редакциях) те самые выражения, с помощью которых он пародирует Ломоносова (ср.: Живов 1996, 248—249; Вроон 1995/96).

Эти натяжки тем более бросаются в глаза и связываются с попыткой навязать материалу внутрилитературную системность, что проблема жанра была одной из наиболее важных для Гуковского и ее обсуждение в рамках анализа отдельных жанров оказывается основой наиболее интересных ранних работ исследователя. В книгу «Русская поэзия XVIII века» вошли две таких работы: «Элегия в XVIII веке» и «Об анакреонтической оде». В реконструкции русской жанровой иерархии XVIII столетия Гуковский опирается на в целом верное (хотя несколько им догматизируемое) представление о «принципиальной анонимности литературных произведений XVIII века», когда читатели задавались вопросом «не об авторе, а о жанре» (Гуковский 1929, 56; ср. ниже).

Такой подход требовал однозначного определения жанра, предполагающего выделение его доминантных характеристик и описания индивидуальных вариантов как отклонений от эталона. Для элегии Гуковский в качестве доминантных черт постулирует тематику несчастной любви, которая реализуется в декламации от первого лица, «подробно изображающего свое настроение, мотивированное намеченной в общих чертах лирической ситуацией» (Гуковский 1927, 56). В соответствии с этим жанровым заданием находятся поэтические приемы элегии (смысловая тавтологичность, аффективные формулы и т. д.).

Образцовое воплощение этих жанровых признаков Гуковский находит в элегиях Сумарокова 1759 г. Эта жанровая специфика продержалась, согласно Гуковскому, «вплоть до конца 50-х годов; в это время ясная, упрощенная система Сумароковской тематики начинает устаревать» (с. 67). Затем она начинает стремительно разлагаться в творениях так называемых учеников Сумарокова, их попытки «приводят <...> к последовательному пути, по которому элегия должна была уйти от окаменения в Сумароковских шаблонах» (там же). Гуковский, увлеченный формальным принципом, не замечает абсурдности своих утверждений: жанровая доминан-

та, созданная элегиями 1759 г., устаревает в конце 1750-х годов, т. е. старость приходит к ней вместе с рождением. И тематическое, и стилевое разнообразие элегии с самого начала задавало этому жанру более широкие рамки, чем Гуковский приписывает сумароковскому эталону, и в этих рамках данный жанр существует и до и после 1759 г., так что младшие современники Сумарокова не ревизуют этот эталон, а развивают присущий элегии потенциал, основываясь на разнообразных — античных, западноевропейских и русских — образцах (см.: Кронеберг 1972). Эти несообразности, однако, не обесценивают работу Гуковского, она упорядочивает обширный материал, фиксирует один из аспектов динамики жанра и создает основу для дальнейшей дискуссии. В этом плане она плодотворна — в отличие от многих позднейших советских работ, подменявших концептуальный анализ, хотя бы и спорный, бессистемным и безрассудным перечислением.

Не менее стимулирующей была и статья Гуковского об анакреонтической оде. Основной *pointe* этой работы состоит в определении дифференциального признака (*differentia specifica*) этого жанра как чисто метрического. Именно «поскольку признаком этого жанра была метрическая характеристика его, она <анакреонтическая ода> являет замечательный пример жанрового мышления эпохи» (Гуковский 1927, 125). В противность своим западноевропейским и античным образцам, «[т]ематического единства русские “анакреонтические” оды не имеют; помимо обычных “анакреонтических” в немецком смысле тем, они принимают темы совершенно иного порядка, не свойственные ни самому Анакреонту, ни его западным подражателям» (там же).

Это парадоксальное развитие анакреонтического жанра в России Гуковский связывает с актуальными для первых десятилетий русской силлаботоники проблемами, прежде всего с проблемой разграничения ритмической последовательности стихотворной речи на самостоятельные сегменты (строки). Этой цели обычно служила рифма, но рифма могла восприниматься как слишком легковесный способ решения задачи, как «игрушка»; заметки Гуковского о переосмыслении рифмы и белого стиха в русской поэтической мысли XVIII в. кажутся немаловажными и по сей день, хотя они и не учитывают в полной мере европейский контекст этой проблематики (ср.: Гаспаров 1984, 90—92). Внеметрические признаки стиха, которые вырабатывает русская анакреонтика, представ-

ляют собой, согласно Гуковскому, различные виды параллелизма, которые он последовательно и анализирует.

Не все в этой конструкции достаточно убедительно, но она производит впечатление своей логической законченностью. Никакой лучшей картины развития данного жанра предложено не было; монография Дорис Шенк (Шенк 1972), содержащая немало ценных наблюдений, в концептуальном отношении остается довольно расплывчатой. Будущему исследователю предстоит понять, каково было тематическое развитие русской анакреонтики — вопрос, от которого Гуковский сознательно отстраняется. Полагать, что тематически в русской анакреонтике царил полный разноречивый, было бы теоретически неосмотрительно и противоречило бы тем фундаментальным идеям о связи семантики и метра (не прямолинейной, но постоянно возникающей и подвергающейся реинтерпретации), которые утвердились в русской филологии в последние десятилетия.

Мотивы любви, вина и наслаждения жизнью образуют, конечно, тематическую основу анакреонтики, однако, будучи помещены в разные культурные парадигмы, они сплетаются с разными пучками идей — от дionyсийского экстаза до философской рефлексии о бренности земных радостей — и в силу этого создают потенциал для разнонаправленного развития анакреонтической поэзии. Разные авторы и разные эпохи избирают разные направления, и ни одно из них не произвольно. Историческая поэтика соединяется здесь с историей культуры, выходя тем самым из сферы действия формального метода. Вовсе не случайно, например, Херасков направляет анакреонтическую оду в сторону дидактики и размышлений о добродетели (ср.: Шенк 1972, 28—64) — в соответствии с тем местом, которое Просвещение отводило гедонизму. Без этого семантического сдвига остается непонятным тот поразительный тематический синтез, который присущ анакреонтике Державина. Гуковский игнорирует эти аспекты, однако его работа фиксирует ту формальную динамику жанра, которая неразрывно связана с его содержательной эволюцией<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Совершенно не прав Г. Н. Ионин, утверждающий, что «М. Херасков попытался использовать “анакреоново” стихосложение для философской поэзии, <...> но его морально-поучительные и даже религиозные рассуждения в стихах были чужды анакреонтике и в жанре безрифменной анакреонтической оды не породили традиции» (Ионин 1987, 300—301). И Г. Н. Ионин, и Г. П. Макогоненко (1987), статью которого